

МОЖНО ли двигаться в камере, где положено сидеть двадцати арестантам, а втиснуто шестьдесят? Можно. Потому что — необходимо. Как известно, в тюрьме “сидят”, но больше все же двигаются. “Высидеть срок” нельзя. Его можно только выходить. Ибо человеческий организм требует движения.

Поэтому в двадцать девятую камеру Бутырской тюрьмы люди постоянно двигаются: перекладывают на нарах вещи; по очереди подходят к параше; пытаются деревянной иглой зашить продравшиеся штаны; едят что-нибудь оставшееся после “лавочки”... Но больше разговаривают друг с другом. Разговаривать громко нельзя, поэтому выработался полусшепотный голос, и от разговоров стоит в камере слышимый шум — как от комариной тучи.

Если бы у надзирателей “глазок”, в который они постоянно следят за арестантами, был сделан не в двери, а в потолке, то они бы увидели, что постоянное движение людей в камере носит осмысленный характер. Есть какие-то стабильные группы и группочки; вокруг некоторых людей кружатся, вьются, подходят и уходят другие люди; наиболее подвижные энергично ходят по камере, расталкивая сокамерников.

И я принимал участие в этом постоянном движении арестантов. Было там несколько человек, с которыми меня соединяло прошлое: район города, улица, профессия, общие знакомые, литературные симпатии. И я уединялся то с одним, то с другим; подходил к арестантам с тюремным опытом, с ужасом и любопытством слушал рассказы и советы.

Через какое-то время в этой постоянной круговерти камеры я заметил человека, отличного от других своим одиночеством. Он ни к кому не подходил, ни в какой группке не состоял, свою миску с баландой относил в угол камеры и съедал в полном одиночестве. В его изгойстве была некая странность, потому что был он очень молод, скорее мальчик, подросток, вступающий в юность. И очень красив. Привлекательной, сразу же внушающей симпатию красотой. Меня к нему потянуло тихим обаянием, от него исходившим. Однажды во время камерного затвора, когда обед забыт, а до ужина еще далеко, я к нему подошел и заговорил. Он не обрадовался, не удивился. Хотя я с этим мальчиком разговаривал с высоты своего тридцатилетнего возраста и наивного предположения о жизненном опыте, он на эту интонацию не обиделся. Он отвечал на мои вопросы просто, естественно. Его рассказ меня потряс, вызвал смутение, отвращение, жалость, удивление.

— Как тебя зовут?
— Платоном. — И улыбнувшись: — И фамилия у меня такая же — Платонов. Платон Андреевич Платонов.

— Ты что, сын писателя Андрея Платонова?

— Да, его сын.

О Платонове я больше слышал, нежели знал как писателя. Читал “Епифанские шлюзы”, еще какие-то рассказы. Зато запомнил разносный подвал в “Правде” о Платонове — певце и защитнике кулачества. Статья была написана самим Фадеевым и выделялась злобностью даже на фоне самых неласковых литературных упреждений.

— Ты давно? Следствие уже закончилось?

— Да так, вроде закончилось. Но еще вызывают.

— Били?

— Нет, не трогали. Следователи у меня хорошие. Папиросы дают. И конфеты.

— За что тебя? С ребятами трепался?

— Нет. Я был агентом.

— Каким агентом?

— Немецким. Немецкой разведки.

В нашей камере были замаркомы и члены цеха, дипломаты и инженеры, моряки и железнодорожники, врачи и педа-

гоги. Был даже монгольский циррик, ни слова не знавший по-русски. Но с агентом немецкой, не просто немецкой — фашистской! — разведки встретился впервые. Я посмотрел на злобнейшего врага, какого можно было только встретить. Шпион! Натуральный немецко-фашистский шпион!

Шпион смотрел на меня таким спокойным и кротким взором, каким смотрит на знаменитой картине Нестерова отрок Варфоломей. Может быть, от того, что лицо мое не выдавало никаких моих чувств, Платон и дальше оставался таким спокойным, будто он мне рассказывал о своих детских шалостях. Я не хотел его расспрашивать о шпионских делах. У меня было ощущение, будто мне с мальчишеской откровенностью рассказывают о чем-то стыдном, порочном, и поддерживать такой разговор нельзя, неприлично... Я решил на излюбленную в тюрьме географическую тему. Мы жили в одном районе вблизи Никитских ворот: я в Гранатном переулке, он на Тверском бульваре.

Мой разговор со шпионом заметили. Очевидно, он не только со мной был так наивно-откровенным.

— Видел, кого они вербуют? — спросил меня мой молодой камерный приятель Олег Рейхель. — Про отца писали, что он антисоветчик. Вот и решили, что яблоко от яблони недалеко падает. И угадали. Он тут один, других шпионов больше нету, ни в нашей, ни в других камерах. Жалко дурака, да кому интересно со шпионом являться.

Мне было интересно. Страшновато, гадливо, но интересно. И на следующий день я снова подошел к одинокому грустному мальчику с такой ужасной биографией. Опять поговорили про киношки вокруг Никитских ворот, и Платон осторожно — наверное, не раз пробовал — протянул мне папиросу. Папироса была не нашеская, не из тюремной лавочки — толстая, дорогая. Следовательская, догадался я... Но взял иудин подарок, затянулся отвычным сладким дымом дорогого табака. Может, эта папироса, этот преступный знак следовательского поощрения, и подвинул молодого шпиона на дальнейшую откровенность. И в течение нескольких предужинных вечеров я выслушал историю Платона Платонова.

ЭТО БЫЛ счастливый и несчастливый мальчик. Счастливый потому, что судьба наградила его красотой, любовью к музыке, приятным голосом, умением играть на гитаре, способностью рассказывать занятные истории, петь модные блатные песни и быть душой любой компании.

А несчастливый он был потому, что родился и вырос в бедной и неудачливой семье. Странноватый отец — писатель, со своей отчужденной от семьи жизнью. Случайные, не всегда литературные заработки, вечная нужда в доме, тяжкие запои. Сына любит, но кричит на него и не хочет понять, чего ему не хватает. А ему не хватает модной курточки, какие носят все ребята в округе; а ему не хватает хоть немного своих денег, чтобы не опускать глаза, когда вся компания расплачивается в кафе или ресторашке; ему даже своих папирос не хватает, и он должен делать вид, что только что выбросил опустевшую пачку...

Хорошо, что везде его принимали таким, какой он есть: бедным, но веселым. Не надо было его упрямить, чтобы пел, играл на гитаре. Заводила во всех постоянных и случайных компаниях, он никого не подводил, никого не выдавал. Компания было много и разных. Но та, которая была лучше всех, самая любимая, самая проклятая, из-за которой он и попал в Бутырки, — она оказалась совсем другая, особая.

Она была взрослая. Ну, не совсем взрослая. Это были военные летчики, они

учились неподалеку в Военно-воздушной академии. Уже с биографиями, командирскими званиями, не по-студенчески богаты. Но — молодцы. И любили компанейство, веселье застолий, пикники в подмосковном лесу. Какой-то случайный знакомый свел Платона с этой компанией, и он не просто пришел ко двору, а всем полюбился, души в нем не чаяли, ни одной пирушки без него не обходилось, будь они все прокляты до единого! Так все время с этими ребятами было хорошо, что Платону иногда казалось: ну не может же быть, чтобы хорошее длилось так все время, должно же что-нибудь случиться. Потому что и время было тревожное, нехорошее, и вокруг то и дело нехорошее случалось. Нехорошее и произошло.

И случилось это на Тверском бульваре. Том самом, где Платон жил, где гулял,

оборот. И является никем иным, как резидентом немецкой разведки.

Резидент деловито и просто, как бы говоря уже о решенном деле, предложил молодому советскому человеку стать платным агентом немецкой разведки. И для этого ему не нужно ни пробираться на военные заводы, ни фотографировать новейшие танки, ничего из того, что Платон видел на экранах киношек у Никитских ворот. Просто раз в неделю встречаться с резидентом на этом самом месте и рассказывать ему, о чем, выпив и закусив, разговаривают между собой будущие асы советской авиации. И ничего не нужно записывать, ни даже расспрашивать специально. Просто-напросто запоминать названия самолетов, обсуждение их качеств, фамилии преподавателей, их характеристики — словом, всякую мелочь, включая даже

Лев РАЗГОН

Лит. газета - 1994 - 1 июня - с. 12.

Отрок Платон

Как я сидел в одной камере с сыном Андрея Платонова

встречался с друзьями, назначал девочкам свидания, где отсиживался на лавочке, уходя от неуютной домашней жизни.

Человек, сыгравший в жизни Платона столь роковую роль, выглядел как самый обычный москвич. Средних лет, средней незапоминающейся внешности, одетый как все, без чего-либо бросающегося. Он присел на скамейку рядом с Платоном, закурил скромную “Яву” и сразу же начал разговор, обратившись к нему по имени, на “ты”, словно прожил всю жизнь платоновскую рядом с ним.

Может, так оно и было? Не назвавший себя человек выказал полную осведомленность обо всем, что касалось писателя Андрея Платонова и его сына. Про сына он знал абсолютно все: где и как учится; с кем водится в школе и за ее пределами; в чьих домах бывает мальчишеские пирушки, откуда берут деньги; в каких кафе и ресторанах прокручивает эту мелкота выпрошенные или выкраденные у родителей деньги.

И про компанию летчиков знал все. Называл ребят по фамилии, а то и по имени, на каких факультетах учатся, где собираются, что пьют. Платон непрерывно курил сердечно предлагаемую ему “Яву” и все ждал конца этого рассказа. А конец состоял из почти искреннего сожаления, что такой парень, как Платон Платонов, должен вести унизительную жизнь нищего.

“С Лубянки!” — было первой мыслью Платона. Кто-то из больших умников говорил, что первая мысль, первое движение души — самое правильное. Но мой преступный сокамерник или не знал этого изречения, либо сам не был даже средним умником. И его меньше потрясло, когда собеседник, как бы догадавшись, о чем Платон подумал, почти непринужденно сказал, что не с Лубянки он, а вовсе на-

имена знакомых девушек. И вся работа. И никакой подписки этому Мефистофелю в кепке давать не надо, и никакой шпионской клятвы, и никаких там паролей, явок, тайнописи. Нужно каждую неделю приходить на эту самую скамейку, курить “Яву”, рассказывать про выслушанный на очередной вечеринке треп и получать за это сто рублей.

Огромные это были деньги — сто рублей! Четыреста рублей в месяц! Мой “партмаксимум” составлял 220 рублей... Но неужели все дело было в этих больших деньгах! А родину продавать? А выдавать военные тайны?

Но агент немецкой разведки смотрел на меня спокойными, широко раскрытыми “варфоломеевскими” глазами:

— Да я же никаких тайн и не выдавал. Ну какие там тайны — названия самолетов! Мы их все видим на парадах в Тушине. И какая тайна, кто откуда приехал учиться и у кого они учатся?

— Зачем же резидент тебе такие большие деньги платил?

— Ну... Вербовал, наверное. Может, думал меня к чему-нибудь приставить... Да не успел.

Платон рассказывал о своих чудовищных преступлениях так, как будто речь шла о неудавшихся школьных проделках. Никакая тень раскаяния не лежала на его красивом, с юношеским румянцем лице. Что румянец этот не юношеский, а чахоточный, не знали ни он, ни я.

— Сколько же свиданий с резидентом у тебя было?

— Не свиданий, явок.

— Ну явок!

— Три.

— И не боялся?

— Ну как не бояться? Боялся. Только уж очень он был такой — прочный, что ли. Сам не солидный, а дело-то как поставле-

но! Ну, все про меня знал, всех моих знакомых девочек по именам... И обещал через месяц-другой уехать и меня забыть. Навсегда. Я и думал: приоденусь — и пусть проваливает к черту!

— Вас вместе и вязали?

— Нет, меня дома. А его не знаю. Взяли, конечно. Мне следователь говорил, что он во всем созрелся.

— Так ты его больше не видел? А на очных ставках?

— Больше не видел. Сказали — расстреляли. У меня было много очных ставок, а с ним — ни разу.

— С кем же у тебя были очные ставки?

— С ребятами из Воздушной академии. Ну, с моими ребятами, из нашей компании.

— А что же было на этих очных ставках?

— Подтверждал, что знал их, гулял с ними, что они трепались при мне.

— А они? Не отпирались? Соглашались?

— Конечно. Чего ж не подтверждать. Было так.

— И их не трогали? И тебя, значит, не били?..

— А чего же их трогать. У меня было три, а то и четыре следователя. Очень хорошие люди. Меня пальцем не тронули, чаем угощали. С пирожными. Записку домой переслали. Так ведь я же не запирался. Все рассказывал, память у меня хорошая, ничего не придумывал.

МОЙ АРЕСТАНТСКИЙ опыт был невелик. Не было еще и трех месяцев, как за мной ночью пришли. Но за время этих недель во Внутрянке и здесь, в Бутырках, я насмотрелся и услышал досыта и многое узнал. Неужели этот мальчик, из-за шмоток и выпивки ставший шпионом, не понимал, что ждет его друзей? Ну, ему дадут пятьдесят восемь — шесть. Шпионаж. Статья тяжелая, но по молодости да за помощь следствию дадут семь-восемь лет — еще вытянет.

А те — те командиры Красной Армии. Сами не шпионили — содействовали. Нарушили присягу, изменили родине. Этим и вышку могут дать. Содрогнулся, подумав об этом. И не смог больше поддерживать этот как бы обычный разговор двух сокамерников. Из меня вылетели остатки жалости и человеческого интереса к молодому предателю, агенту немецкой разведки.

И больше не подходил к Платону, стараясь избегать встречаться с ним взглядом, как бы на себе ощутив тяжесть нависшего над ним общего презрения. И обрадовался, когда через несколько дней Платона Платонова вызвали с вещами. Куда? В Лефортово? На суд? Уходящие уходили навсегда. У нас не было никаких надежд узнать про них. Разве что в Бутырском сортире прочитать плохо замазанную надписью, процарапанную чем-то острым.

А когда я снова вспомнил про Платона? Вспомнил и ужаснулся своей тупости, целенькой наивности. Своему отвращению и жестокости к этому пареньку. Я уже был в Устьвымлаге, позади долгий этап, Котласская пересылка, Первый лагпункт. Насмотрелся, послушался, многое понял, многое старался понять. И вдруг неожиданно для себя, как бы от непонятно чем вызванного толчка, вспомнил Платонова и понял, кто же был резидентом немецкой разведки, кем был разработан нехитрый план использовать неопытного, слабодушного мальчика, чтобы соорудить шпионский заговор в Военно-воздушной академии, а это было святая святых, гордость армии и всей страны.

И мне захотелось на какой-нибудь лагерьной пересылке, на лагерной командировке, на любом лагерном перекрестке встретить Платона Платонова из 29-й камеры Бутырской тюрьмы, чтобы ему объяснить, кто и как его запутал в эту черную паутину, объяснив, что были эти добрые

люди, кормившие его пирожными... И, может быть, не только все объяснить, но и сказать, почему я тогда в камере...

НО Я НИГДЕ не встретил Платона Платонова. И не мог встретить. Он умер. Правда, умер на воле, умер от чахотки, признаки которой я принял за юношеский румянец.

Я об этом узнал через много лет, когда вышел на свободу, стал литератором, когда из глубин, куда был затолкнут, задвинул дивный талант Андрея Платонова, возникли его книги, возникли рассказы, а то и легенды про необыкновенную его, трагическую жизнь.

В Москве, в Доме литераторов, был вечер Андрея Платонова. Это был первый вечер, посвященный писателю, вроде как бы и разрешенному, но все еще находившемуся под подозрением. Как будто после его смерти, после смерти его могущественного врага и гонителя, все еще висело над ним слово “пононок!”, начертанное сталинской рукой на рассказе Платонова в журнале.

И сам вечер, и предстоящий на нем доклад уже известного вольнодумца Юрия Карякина привлек всеобщее внимание. И это очень волновало моего нового и очень мне приятного знакомого Боря Ямпольского, ответственного за организацию этого вечера. (Ох, недаром он волновался, боком ему вышел этот вечер! Ему и Юре Карякину, которого за его доклад исключили из партии...)

Над сеной висела огромная фотография Андрея Платонова. Она меня поразила. Платонов стоял без шапки, растрепанные волосы падали на обезумевшее от горя лицо.

— Где это снято? — спросил я Ямпольского.

— Это на могиле сына, на его похоронах.

— Платона?

— Да. Он был арестован и заболел в тюрьме туберкулезом. Платонову удалось как-то добиться освобождения сына. Но поздно. Болезнь зашла далеко, он умер.

Вот, значит, как я встретился с Платоном! Перед фотографией его могилы...

А как же?.. Я не мог сказать добром и милому Боре Ямпольскому, наверняка знакомому с семьей Платонова, что я сидел с погибшим сыном Андрея Платонова. Тогда я и должен был бы рассказать, что и как привело его в тюрьму. И я смолчал и выслушал рассказ Бори Ямпольского: Платона Платонова посадили за то, что он был сыном своего отца, по выдуманному обвинению в антисоветской агитации. Андрей Платонов дошел до самых высоких инстанций, ему помогли некоторые писатели, и ему удалось спасти сына. От тюрьмы спас, а от чахотки не сумел.

Неужели они его пожалели? За робкую и беспомощную душу, за то, что помог им в их адском плане? Но я твердо, непоколебимо знал: они полностью и до самого предела лишены такого чувства — жалости. Нет, наверное, что-то другое. Вернее всего — попал Платон в маленькую шель мышеловки, на время приоткрытой воцарившимся на Лубянке Берией.

Рассказал ли, выйдя на волю, Платон отцу, матери, своим самым близким историкам, как он попал в западню? Я этого не узнал и не хотел узнавать. У него остались мать, сестра — если они не знают, зачем я буду сыпать соль на их незаживающую рану?

И рассказываю об этом сейчас, через пятьдесят четыре года после встречи в 29-й камере. Рассказываю потому, что свидетельствую. Я — один из множества свидетелей. И хотя нет никаких весов, которые могли бы выдержать тяжесть всех свидетельств того, что они сделали, — пусть к этой тяжести прибавится и мое воспоминание о еще одной погибшей жизни.

Платонов Андрей

1.06.94.